

ВИКТОРИЯ
Мас

бал безумцев



Виктория Мас

Бал безумцев

Серия «Шорт-лист. Новые звезды»

Издательский текст

<https://litres.ru/62788226>

Бал безумцев: Издательство АСТ; М.; 2020

ISBN 978-5-17-121895-9

Аннотация

Действие романа происходит в Париже конца XIX века, когда обычным делом было отправлять непокорных женщин в психиатрические клиники. Каждый год знаменитый невролог Жан-Мартен Шарко устраивает в больнице Сальпетриер странный костюмированный бал с участием своих пациенток. Посмотреть на это зрелище стекается весь парижский бомонд. На этом страшном и диком торжестве пересекаются судьбы женщин: старой проститутки Терезы, маленькой жертвы насилия Луизы, Женеьевы и беседующей с душами умерших Эжени Клери. Чем для них закончится этот Бал безумцев?

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	22
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Виктория Мас

Бал безумцев

Victoria Mas

LE BAL DES FOLLES

Published by arrangement with

SAS Lester Literary Agency & Associates

© Editions Albin Michel – Paris 2019

© Павловская О., перевод, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Глава 1

ЖЕНЕВЬЕВА

3 марта 1885 г.

– Луиза, пора.

Женевьева одной рукой сдергивает одеяло, под которым девочка-подросток еще спит, свернувшись клубком на узком матрасе; густые темные волосы рассыпались по подушке, под ними видна лишь часть лица. Луиза тихонько посापывает с приоткрытым ртом. Она не слышит, как вокруг, в дортуаре, уже встают женщины. Между рядами железных кроватей вырастают силуэты; женщины потягиваются, воздевают руки, подбирая волосы в шиньоны, застегивают чернильно-черные платья поверх полупрозрачных ночных рубашек и монотонными шажками бредут к столовой под бдительными взорами санитарок. Солнце робко просеивает свет сквозь запотевшие оконные стекла.

Луиза всегда просыпается последней. Каждое утро кто-нибудь из умалишенных – соседок по дортуару – или одна из медсестер приходит ее будить. Сумерки приносят облегчение, и девушка проваливается в сон, столь глубокий и креп-

кий, что в нем нет места видениям. Когда спишь, не думаешь о том, что случилось в прошлом, и можно не переживать о будущем. Для Луизы это единственная возможность забыть ненадолго о тех событиях, что три года назад привели ее сюда.

– Вставай, Луиза. Тебя ждут.

Женевьева трясет девушку за плечо – та наконец открывает один глаз, поначалу приходит в изумление, увидев у своей постели ту, кого умалишенные прозвали Старожилкой, а потом спохватывается:

– У меня сеанс!

– Собирайся скорей, ты долго спала.

– Да!

Луиза спрыгивает с койки – ноги вместе, приземляется на обе – и хватает со стула платье из черного сукна. Женевьева, отступив в сторонку, наблюдает за ней. Опытный глаз подмечает суетливые движения, неуклюжий наклон головы, учащенное дыхание. Но очередной припадок был у Луизы только вчера – можно не опасаться, что это повторится до сегодняшнего сеанса.

Девушка торопливо застегивает пуговицы на воротничке платья и поворачивается к сестре-распорядительнице. Женевьева, всегда прямая как палка, в белоснежной казенной одежде, с аккуратно собранными в шиньон белокурыми волосами, заставляет ее робеть, хотя за время, проведенное здесь, Луиза немного примирилась с суровостью этой жен-

щины. Женевьеву не упрекнешь в том, что она несправедлива или жестока с пациентками, просто не внушает никому ни любви, ни привязанности.

– Всё правильно, мадам Женевьева?

– Распусти волосы. Доктор предпочитает распущенные.

Луиза вскидывает полные руки к сооруженному в спешке шиньону. Она еще совсем дитя, хоть и выглядит старше. В свои семнадцать полна детских восторгов и воодушевления. Тело расцвело слишком быстро – грудь и бедра округлились в четырнадцать лет, и возраст не уберег ее от последствий сладострастия, которое они пробуждали. Невинность почти исчезла из глаз Луизы – почти, и это давало надежду, что для нее все изменится к лучшему.

– Я так волнуюсь...

– Доверься доктору, и все пройдет хорошо.

– Да.

* * *

Женщина и девушка идут по больничному коридору. Мартовский утренний свет просачивается в окна и разливается по плитке пола, слабо поблескивая, – это ласковое сияние, предвестье весны и средопостного¹ бала, дарует желание улыбаться и обещание, что скоро можно будет покинуть

¹ Средопостье – середина Великого поста, время общественных увеселений во Франции. (Здесь и далее примеч. пер.)

эти стены.

Женевьева чувствует, что Луиза нервничает – та шагает, опустив голову, безвольно свесив руки, учащенно дыша. Пациенток этого заведения всегда охватывает беспокойство перед встречей с самим Шарко, особенно если они избраны для участия в сеансе гипноза. Их пугает такая ответственность, тревожит необходимость предстать перед большим количеством людей. Жизнь не баловала этих женщин вниманием окружающих, всеобщий интерес им непривычен и вгоняет в ступор, заставляя терять рассудок – в очередной раз.

Еще несколько коридоров, распашные двери – и они входят в небольшое помещение, смежное с залом для публичных лекций. Несколько мужчин – врачи, интерны, студенты-медики – уже ждут с записными книжками и перьями наготове. Все как один подтянутые, в черных костюмах и белых сорочках; над верхней губой у каждого топорщатся усы. Мужчины одновременно оборачиваются к предмету сегодняшнего изучения, скользят по телу тренированными взглядами, словно скальпелями, отсекая лишнее, – Луизе кажется, будто они смотрят сквозь ее платье, и в конце концов девушка под любопытными взорами опускает глаза.

Здесь только одно знакомое лицо – Бабинский, ассистент доктора Шарко. Он подходит к Женевьеве:

– Зал скоро заполнится. Начнем через десять минут.

– Вам понадобится что-нибудь особенное для Луизы?

Бабинский окидывает девушку взглядом с головы до ног:

– И так сойдет.

Женевьева кивает и собирается выйти из «предбанника», но Луиза встревоженно заступает ей путь:

– Вы ведь за мной вернетесь, мадам Женевьева?

– Как обычно, Луиза.

Из-за кулисы, скрывающей сцену в зале, Женевьева оглядывает ряды зрителей. Эхо низких голосов набирает силу над деревянными скамьями и заполняет все пространство. Лекторий в Сальпетриер напоминает не столько больничное помещение, сколько музей, а скорее – кунсткамеру. Здесь картины и гравюры, висящие на стенах, и росписи на потолке являют взорам анатомические схемы и тела. В композициях – смешение безвестных персонажей, обнаженных и одетых, смятенных и потерянных; рядом со скамьями – тяжелые, покосившиеся от времени шкафы со стеклянными дверцами выставляют на обозрение коллекцию сувениров, всё, что больница оставляет себе на память: черепа, берцовые и тазовые кости, ребра, десятки банок с заспиртованными органами, мраморные бюсты и россыпи инструментов. Уже само убранство этого зала сулит зрителям нечто необычное.

Женевьева рассматривает публику. Некоторые личности ей известны; кроме интернов и врачей, она узнаёт писателей, журналистов, политических деятелей, художников, и на их лицах любопытство соседствует с заведомым одобрением или, наоборот, со скептицизмом. Женевьева испытывает чувство гордости. Она гордится, ибо лишь один человек

в Париже способен внушать к себе такой интерес, что ради него каждую неделю заполняются скамьи в этом зале. А вот и он сам – появляется на сцене, и зрители умолкают. Внушительный силуэт Шарко вырисовывается напротив замороженной публики. Он серьезен и бесстрастен. Долгий профиль напоминает о греческих статуях – в нем столько же изящества и достоинства. У Шарко внимательный и невозмутимый взгляд врача, который годами изучал женщин, уязвимых и уязвленных, отвергнутых собственной семьей и обществом. Он знает, сколь велики надежды, возлагаемые на него душевнобольными. Знает, что его имя гремит на весь Париж. Этому человека наделили полномочиями, и теперь он использует свою власть во благо, с глубочайшей убежденностью, что она получена не напрасно, ибо его редкий дар способствует развитию медицины.

– Господа, приветствую вас и благодарю за то, что вы сюда пришли. Сегодняшняя демонстрация будет представлять собой сеанс гипнотического воздействия на пациентку с тяжелой формой истерии. Ей семнадцать лет, и за те три года, что она находится здесь, в Сальпетриер, мы наблюдали у нее две с лишним сотни припадков. Гипноз позволит нам воспроизвести у девушки еще один истерический припадок и исследовать все его симптомы. Эти симптомы, в свою очередь, дадут нам возможность больше узнать о физиологическом процессе истерии. Благодаря таким пациенткам, как Луиза, наука и медицина движутся вперед.

Женевьева едва заметно улыбается. Всякий раз, глядя на Шарко, который обращается с речью к аудитории, нетерпеливо ждущей очередную демонстрацию, она думает о том, с чего этот человек начинал. У нее на глазах он занимался исследованиями и наблюдениями, лечил, вел записи, старался понять, делал открытия, на которые до него никто не был способен, думал так, как никто не думал до него. Шарко был для Женевьевы живым воплощением медицины во всей ее полноте, истине и благе. Зачем поклоняться богам, если есть люди, подобные Шарко? Нет, не совсем так – Шарко единственный, таких больше нет. Она гордится, да, гордится и чувствует себя избранной, ибо уже почти двадцать лет ей дозволяется вносить свой вклад в труды и достижения знаменитого парижского невролога.

Бабинский выводит на сцену Луизу. Десять минут назад она умирала от страха, теперь же все изменилось: расправив плечи, выпятив грудь, задрав подбородок, девушка идет к публике, которая ждет только ее. Она больше не боится – для нее настал момент славы и признания. Для нее и для маэстро.

Женевьева знает все слагаемые ритуала. Сперва перед лицом Луизы плавно раскачивается маятник, взгляд ее голубых глаз замирает, диапазон качания сокращается, и вот она уже заваливается вперед – два интерна ловко подхватывают безвольное тело. Луиза с закрытыми глазами подчиняется любой команде, для начала выполняет простые движения –

поднимает руку, поворачивается вокруг своей оси, сгибает ногу в колене, как послушный солдатик. Затем принимает позу по новому требованию: молитвенно складывает ладони, вскидывает голову, взывая к небесам, изображает распятие. Постепенно то, что должно быть простой демонстрацией силы внушения, превращается в грандиозное зрелище, наступает «фаза больших движений», как возвещает Шарко. Теперь Луиза уже не получает указаний – она на полу и движется сама по себе, сплетает ноги, заламывает руки, совершает рывки из стороны в сторону, падает на спину, перекачивается на живот, конечности напрягаются так, что больше не могут сгибаться, на лице смесь муки и наслаждения, хриплое дыхание вырывается в ритме охвативших тело судорог. Суеверные невежды сказали бы, что она одержима бесами, – впрочем, и среди просвещенных зрителей кое-кто украдкой осеняет себя крестным знаменем... Последняя конвульсия опять бросает ее на спину – голые пятки и затылок упираются в пол, тело выгибается, образуя крутую дугу от шеи до голеней. Темные волосы метут пыль по сцене; позвоночник, принявший форму перевернутой буквы U, вот-вот хрустнет от напряжения. Наконец искусственно вызванный припадок утихает – девушка с грохотом обрушивается на доски настила под ошеломленными взорами.

Благодаря таким пациенткам, как Луиза, наука и медицина движутся вперед.



За пределами Сальпетриер, в салонах и кофейнях, бытуют свои представления о том, что творится в так называемом отделении истеричек, возглавляемом Шарко. Люди воображают себе обнаженных женщин, которые мечутся по коридорам, бьются лбом о стены, раскидывают ноги, принимая вымышленного любовника, и воем воют с утра до ночи. В фантазиях обывателей тела безумных сотрясаются в конвульсиях под белыми простынями, развеваются косматые волосы, кривятся в гримасах женские лица – старые, заплывшие жиром, уродливые. Считается, что этих женщин нужно держать подальше от общества, даже если для такой меры нет конкретной причины, поскольку они не нарушили нормы морали и не совершили иного преступления. В тех, кто не терпит малейших отклонений от нормы, будь они буржуа или пролетарии, мысли об умалишенных в Сальпетриер будят желания и обостряют страхи. Безумные женщины завораживают их и наводят ужас. И если бы нынешним утром эти люди явились в Сальпетриер на экскурсию, их разочарованию не было бы предела.

В просторном дортуаре спокойно совершаются будние дела: женщины протирают пол под железными койками и в проходах, кто-то наспех моется банной рукавичкой над кадкой с холодной водой; одни еще лежат, сломленные уста-

лостью и тягостными мыслями, – у них нет желания ни с кем общаться; другие расчесывают волосы, тихонько переговариваются парочками, смотрят в окна на проступивший в тусклом свете парк, где снег пока что борется за жизнь. Тут есть женщины всех возрастов – от тринадцати до шестидесяти пяти, брюнетки, блондинки и рыжие, худые и толстые. Все одеты и причесаны, как обычные горожанки, блюдущие приличия. Ничего общего с гнездом порока, образ которого засел в несведущих головах, – этот дортуар скорее подходит на часть дома отдыха, отведенную истеричкам. И лишь присмотревшись к здешним обитательницам повнимательнее, начинаешь различать тревожные признаки: вон там сведенная судорогой рука прижата к груди, кулак стиснут, кисть неестественно вывернута; здесь кто-то моргает быстрее, чем бабочка машет крыльями, а оттуда на тебя пристально таращатся одним глазом, зажмутив другой. Здесь под запретом звуки духовых и камертона, иначе некоторые могут впасть в каталепсию. Та женщина зевает без передышки, а эта пребывает в постоянном беспорядочном движении. Ты то и дело ловишь подавленные, отстраненные или преисполненные глубочайшей меланхолии взгляды. А время от времени воцарившийся хрупкий покой в дортуаре нарушают пресловутые истерические припадки: женское тело вдруг начинает извиваться на кровати или на полу, борется с незримым противником, изгибается, бьется, встает дугой, скручивается в узел, пытается вырваться из своего плена и не может. К женщине

спешат со всех сторон, какой-нибудь интерн нажимает двумя пальцами ей на живот в том месте, где находятся яичники, и это давление успокаивает безумную. В самых тяжелых случаях припадочной накрывают нос и рот тряпицей, смоченной эфиром, – тогда ее глаза закрываются, и приступ проходит.

Истерички не пляшут здесь босыми в стильных коридорах. Изо дня в день они ведут безмолвную борьбу за то, чтобы стать нормальными.

* * *

Вокруг одной койки столпились женщины – смотрят, как Тереза вяжет шаль. Девушка с замысловатой прической – длинной косой, уложенной в венок, – подходит поближе к той, кого здесь кличут Вязуньей:

– Это ведь для меня, да, Тереза?

– Я обещала Камилле.

– А мне ты обещала уж не помню когда.

– Я две недели назад связала шаль – она тебе не понравилась, Валентина, так что жди теперь.

– Злюка!

Валентина удаляется с обиженным видом; она уже сама не замечает, что у нее нервно подергивается правая рука, а по ноге то и дело пробегает дрожь.

Женевьева тем временем в паре еще с одной медсестрой

помогает Луизе улечься на койку. Совсем ослабевшая девушка находит в себе силы улыбнуться:

– Я все сделала правильно, мадам Женевьева?

– Как обычно, Луиза.

– Доктор Шарко мной доволен?

– Он будет доволен, когда вылечит тебя.

– Я видела, как они на меня смотрели... все они... Я стану такой же знаменитой, как Августина, да?

– Отдыхай, Луиза.

– Я стану новой Августиной... Обо мне будет говорить весь Париж...

Женевьева укрывает одеялом изнуренное юное тело. Девушка уже заснула с улыбкой на бледном лице.

* * *

На улице Суффло хозяйничает ночь. Пантеон, прибежище прославленных имен, чьи обладатели спят в этой каменной толще, приглядывает с высоты за Люксембургским садом, что прикорнул в конце дороги. Между ними, на шестом этаже жилого дома, распахнуто окно. Женевьева смотрит на тихую улицу, у рубежей которой с одной стороны высится величественный силуэт памятника мертвецам, а с другой раскинулся парк, где каждое утро по зеленым аллеям и цветущим лужайкам среди статуй прогуливаются дети и влюбленные.

Вернувшись со службы ранним вечером, Женестьева в который раз выполнила привычный, обыденный ритуал. Сначала расстегнула белый халат и, прежде чем повесить его в шкаф, машинально проверила, не запачкался ли, нет ли пятен крови. Затем умылась в уборной на своей лестничной площадке – порой ей там встречались другие обитатели того же этажа, к примеру девочка пятнадцати лет и ее мать, обе прачки, оставшиеся одни после смерти кормильца во времена Коммуны. В своей комнатухе Женестьева разогрела протертый суп, поела, сидя на краешке односпальной кровати при свете масляной лампы, и минут десять простояла у окна, как делала каждый вечер.

Сейчас она, неподвижная и прямая, словно все еще облаченная в медицинский халат, с высоты озирает улицу – так же бесстрастно сторож смотрит вдаль с маяка. Женестьева делает это не потому, что хочет полюбоваться городскими огнями или помечтать – она лишена романтических устремлений. Такие минуты покоя нужны ей для того, чтобы похоронить в душе все, что за день случилось в больничных стенах. Она открывает окно и развеивает по ветру накопившиеся к вечеру в памяти образы – опечаленные и ехидные лица, запахи эфира и хлороформа, стук каблучков по плитке коридоров, эхо стонов и причитаний, скрип железных коек под беспокойными телами. Женестьева хранит дистанцию – не думает о душевнобольных пациентках. Они ей не интересны. Ничья судьба ее не волнует, ни одна история не вызывает

отклика. С того случая в самом начале своей службы санитаркой она раз и навсегда запретила себе видеть в пациентках реальных женщин. Воспоминания о страшном событии часто возвращаются к ней, и она снова видит набирающий силу приступ у той умалишенной, так похожей на ее сестру, видит, как искажается юное лицо, а скрюченные руки хватают ее за шею и сдавливают с безумной яростью. Тогда Женева была молода и думала, что помощь пациенткам предполагает с ее стороны глубокую привязанность. Две другие санитарки общими усилиями с трудом оттащили от нее ту, к кому она относилась с безмерным доверием и участием. Испытанное потрясение стало для нее уроком, и два десятка лет, которые с памятного дня Женева провела рядом с умалишенными, лишь укрепили сложившееся под его влиянием мнение: болезнь обесчеловечивает, душевные недуги превращают этих женщин в марионеток, пребывающих во власти причудливых симптомов, в безвольных кукол, которых врачи вертят в руках, изучают, обследуют каждую пядь их тел. Они становятся диковинными зверушками, что внушают лишь научный, клинический интерес, перестают быть женами, матерями или подростками. Они больше не люди, чью личность нужно принимать в расчет, не женщины, способные вызывать желание или любовь. Они всего лишь больные. Умалишенные. Пропатии. И ее работа заключается в том, чтобы в лучшем случае их вылечить, а в худшем – обеспечить приемлемые условия содержания до конца жизни.

Женевьева закрывает окно, берет масляную лампу и садится за деревянную конторку, поставив лампу перед собой. В этой каморке она живет со дня приезда в Париж, и единственный предмет роскоши здесь – печурка, худо-бедно согревающая помещение. За двадцать лет ничего не изменилось. В этих четырех стенах стоит та же односпальная кровать, тот же шкаф с двумя выходными платьями и домашним халатом, та же угольная плита и та же деревянная конторка со стулом – для эпистолярных занятий. Тут все из темного дерева, лишь розовый гобелен, пожелтевший от времени и вздувшийся местами от сырости, разбавляет цветовую гамму. Сводчатый потолок кое-где нависает так низко, что Женевьеве приходится втягивать голову в плечи.

Она берет лист бумаги, макает перо в чернильницу и принимается за письмо.

Париж, 3 марта 1885 г.

Милая сестрица,

вот уж несколько дней я тебе не писала – надеюсь, ты на меня не в обиде. Умалишенные на нынешней неделе чересчур беспокойны. Стоит одной сорваться, как тут же приступы случаются и у других. Такое с ними часто бывает на излете зимы. Долгие месяцы над нами довлеет свинцовое небо, в дортуаре холодно – печурки не могут как следует натопить все помещение, да и зимние болячки дают о себе знать. Все это дурно сказывается на душевном состоянии

пациенток, как ты, конечно, и сама понимаешь. К счастью, сегодня выглянули первые весенние лучики, а всего через две недели настанет пора средопостного бала – да-да, уже так скоро, – и это должно их умиротворить. Не сегодня-завтра надобно будет доставать прошлогодние маскарадные костюмы. Вот это уж точно поднимет пациенткам настроение, а заодно и всем интернам.

Доктор Шарко сегодня провел новую публичную демонстрацию. На сей раз опять показывал зрителям малышку Луизу. Бедная безумная девочка, она уже мнит себя новой Августиной, думает, будто ее ожидает тот же успех. Надо было ей напомнить, что успех вскружил Августине голову и она в конце концов сбежала из больницы, да еще в мужском платье! Неблагодарная. Сбежала после всего, что мы, и в особенности, конечно, доктор Шарко, для нее сделали. Впрочем, безумие – приговор на всю жизнь, как я тебе всегда говорила.

Так или иначе, нынешний сеанс гипноза удался. Шарко и Бабинский вызвали у Луизы знатный припадок, публика осталась довольна. Лекторий был набит битком, как всегда по пятницам. Доктор Шарко заслуживает своей славы в полной мере. Я не решаюсь даже помыслить о том, какие открытия ему еще предстоит совершить. И всякий раз поражаюсь сама себе – надо же, простая девчонка из Оверни, дочь сельского лекаря, нынче ассистирует выдающемуся парижскому неврологу. Должна тебе признаться, эта

мысль переполняет мое сердце гордостью и смирением.

Приближается твой день рождения. Я стараюсь о нем не думать – слишком уж велика моя печаль. Особенно в этот день, да. Ты, должно быть, сочтешь меня глупой, но годы ничего не лечат. Я буду тосковать по тебе всю жизнь.

Милая моя Бландина... Пора уж мне идти спать. Крепко обнимаю тебя и нежно целую.

Твоя сестра, та, что думает о тебе, где бы ты ни была.

Женевьева перечитывает письмо, перед тем как его сложить. Затем засовывает лист в конверт, помечает в правом верхнем углу: «3 марта 1885 г.», – встает из-за конторки и открывает дверцу шкафа. Под висящими там платьями стоят ряды прямоугольных коробов. Женевьева берет один, из верхнего ряда. В коробе – сотня конвертов, все с датами в правом верхнем углу, как и тот, что у нее в руке. Она проводит указательным пальцем по надписи на конверте, что лежит сверху – «20 февраля 1885 г.», – и кладет на него новый. Закрыв короб крышкой, ставит его на место и затворяет дверцу шкафа.

Глава 2

ЭЖЕНИ

20 февраля 1885 г.

Снегопад продолжается уже три дня. Снежинки колышутся в воздухе жемчужным занавесом; белый хрусткий покров лежит на тротуарах и на деревьях в садах, цепляется за меха и за медные пряжки попирающих его сапог.

Семья Клери, собравшаяся за обеденным столом, уже не обращает внимания на хлопья, что безмятежно кружат за высокими окнами и приземляются на серебристый ковер, выстеливший бульвар Османа. Пять человек сосредоточены на собственных тарелках, режут красное мясо, только что поданное слугой. Над головами высокий потолок с лепниной, вокруг роскошная мебель и картины, предметы искусства из мрамора и бронзы, люстры и канделябры – убранство апартаментов парижских буржуа. Обычное начало вечера: столовые приборы звякают о фарфоровые тарелки, ножки стульев поскрипывают под теми, кто на них сидит, огонь потрескивает в камине, и слуга время от времени ворошит поленья железной кочергой.

Тишину нарушает глава семейства:

– Сегодня приходил Фошон. Он недоволен наследством, полученным от матери, – надеялся на замок в Вандее, но тот достался сестре. Мать отписала ему только квартиру на улице Риволи. В качестве жалкого утешения.

Говоря это, отец не поднимает глаз от тарелки. Но теперь, когда он прервал молчание, остальные тоже могут подать голос. Эжени, бросив взгляд на брата, который сидит напротив, как и все, склонившись над тарелкой, пользуется возможностью:

– В Париже болтают, Виктор Гюго очень плох. Ты о нем что-нибудь знаешь, Теофиль?

Брат вскидывает к ней удивленный взор, дожевывая мясо:

– Не больше, чем ты.

Отец тоже смотрит на дочь, не замечая, что в ее глазах искрится ирония.

– И где же именно в Париже ты это слышала?

– Повсюду. От газетчиков. В кофейнях.

– Мне не нравится, что ты ходишь по кофейням, Эжени. Это неприлично.

– Я хожу туда только для того, чтобы почитать.

– Тем не менее. И не смей произносить в моем доме имя этого человека. Что бы о нем ни болтали, никакой он не республиканец.

Девятнадцатилетняя девушка старается сдержать улыбку – она нарочно дразнила отца, иначе тот не удостоил бы ее

и взглядом. Глава семьи Клери смирится с существованием дочери, лишь когда представитель какого-нибудь другого достойного семейства – тут подразумевается династия адвокатов и нотариусов – пожелает избрать ее в законные супруги. Тогда она обретет в глазах мэтра Клери единственное достоинство – супружескую добродетель. Эжени может себе представить, как отец разозлится, стоит ей объявить, что она не желает выходить замуж. Но это решение принято ею давным-давно. Она не приемлет для себя такой же судьбы, как у матери, которая сейчас сидит рядом, по правую руку, и чья жизнь протекает в буржуазных апартаментах, подчиненная распорядку и решениям супруга, жизнь без амбиций и страстей. Она ведь ничего не видит в этой жизни, кроме собственного отражения в зеркале, если, конечно, ей еще доставляет удовольствие на себя смотреть. Жизнь, посвященная единственной цели – рождению детей; жизнь, в которой единственная забота у нее – какой наряд сегодня выбрать. Ничего из этого не нужно Эжени. Зато она жаждет всего остального.

Слева от брата бабушка по отцовской линии с улыбкой поглядывает на нее. Бабушка – единственная в семье, кто видит Эжени такой, какая она есть: гордая и самонадеянная, бледная брюнетка с высоким лбом и пристальным взглядом, с темным пятнышком на радужке левого глаза. Бабушка видит, что Эжени внимательно наблюдает за всем и все подмечает втихомолку. Еще она видит во внучке потребность раз-

рушать любые ограничения – и в знаниях, и в своих устремлениях, – потребность столь острую, что порой у Эжени от этого сводит живот.

Клери-отец смотрит на Теофиля, который ест с привычным аппетитом. Когда он обращается к старшему сыну, его тон смягчается:

– Теофиль, ты уже прочитал новые книги, которые я тебе дал?

– Еще нет, мне нужно было кое-что еще проштудировать. Возьмусь за них в начале марта.

– Через три месяца ты начнешь работать делопроизводителем, я хочу, чтобы к тому времени ты повторил все, чему успел обучиться.

– Непременно этим займусь. Пока не забыл, завтра после обеда я иду в дискуссионный салон. Кстати, там будет Фощон-сын.

– Не упоминай при нем о наследстве, а то он расстроится. Однако я одобряю твои планы – упражнения для ума весьма полезны. Франции нужна мыслящая молодежь.

Эжени поднимает голову:

– Говоря о мыслящей молодежи, вы имеете в виду и юношей, и барышень, не правда ли, папенька?

– Сколько раз тебе повторять – женщинам нечего делать в общественных местах.

– Как это печально – представить себе Париж, населенный одними мужчинами...

– Довольно, Эжени.

– Мужчины слишком серьезны, они совсем не умеют веселиться. А вот женщины могут и построжиться, и посмеяться.

– Прекрати мне перечить.

– Я вам не перечу – мы всего лишь дискутируем. Ведь вы поощряете Теофиля в его намерении заняться этим завтра с приятелями.

– Хватит! Я говорил тебе, что не потерплю дерзости в своем доме. Выйди из-за стола.

Отец со звоном бросает приборы на тарелку и буравит Эжени взглядом. Ей кажется, что густые усы мэтра Клери и обрамляющие лицо бакенбарды шевелятся от гнева. У него даже побагровели лоб и скулы. Что ж, сегодня ей, по крайней мере, удалось добиться хоть каких-то эмоций.

Девушка кладет вилку и нож на тарелку, салфетку – на стол, поднимается, кивает на прощание родственникам и под их взглядами – удрученным матери и веселым бабушки – покидает обеденную залу, вполне довольная произведенной сумятицей.

* * *

– Стало быть, ты не смогла сдержаться нынче за столом?

За окнами совсем стемнело. В одной из пяти спален апартаментов Эжени взбивает подушки, а бабушка, уже в ночной

рубашке, стоит позади и ждет, когда внушка приготовит для нее постель.

– Нужно ведь было немного развлечься. За обедом царила такая скука! Садитесь сюда, бабушка.

Эжени, взяв старую женщину за морщинистую руку, помогает ей сесть на кровать.

– Твой отец дулся до самого десерта. Тебе стоит укротить нрав – говорю это ради твоего же блага.

– Не беспокойтесь за меня – едва ли я сподоблюсь упасть в глазах отца еще ниже.

Эжени берется за голые худые ноги старухи, поднимает их на постель и накрывает ее одеялом.

– Вам не холодно? Может быть, принести еще одно одеяло?

– Нет, милая, все чудесно.

Девушка склоняется к благодушному лицу той, кого она укладывает спать каждый вечер. Ей нравится смотреть в эти голубые глаза, а бабушкина улыбка, от которой щурятся выцветшие глаза и от них разбегаются веселые морщинки, – самая ласковая в мире. Эжени любит эту женщину больше, чем мать; отчасти, возможно, потому, что и бабушка любит внучку больше, чем могла бы любить родную дочь, которой у нее никогда не было.

– Эжени, деточка, твое величайшее достоинство – вместе с тем твой величайший недостаток. Ты слишком свободна.

Морщинистая рука, вынырнув из-под одеяла, касается

темных волос внучки, но та на бабушку уже не смотрит – взор Эжени обращен в дальний угол комнаты, там сосредоточено все ее внимание. Она не впервые застывает так, глядя в одну точку в пространстве, но никогда не остается в подобном состоянии надолго, чтобы об этом можно было всерьез беспокоиться. Возможно, какая-то мысль или воспоминание пришли ей на ум и повергли в душевное волнение. А может быть, с ней происходит то же самое, что было в двенадцать лет? Тогда Эжени клялась, что увидела нечто невообразимое. Старуха поворачивает голову в том же направлении – в углу комнаты стоит комод, на нем ваза с цветами и несколько книг.

– Что там, Эжени?

– Ничего.

– Ты что-то увидела?

– Нет, совсем ничего. – Эжени поворачивается к бабушке с улыбкой, гладит ее по руке: – Просто я устала немного, вот и всё.

Она не может признаться, что действительно что-то увидела. А вернее, кого-то. Не может сказать, что он не появлялся довольно давно и теперь она удивилась, хоть и почувствовала его заранее. Эжени видит дедушку с двенадцати лет – он умер в тот год за две недели до ее дня рождения. А позднее вся семья собралась в гостиной, и он показался внучке впервые после смерти. Эжени тогда закричала: «Смотрите, это дедушка, он сидит вон в том кресле, смотрите же!» – ни-

чуть не сомневаясь, что остальные тоже его увидят. И чем больше ее убеждали, что дедушки там нет, тем упорнее она стояла на своем и твердила: «Дедушка там, клянусь вам!» – пока отец не отчитал ее столь сурово и жестоко, что она с тех пор уже не осмеливалась рассказывать ближним о новых визитах дедушки. Дедушки и тех, других. Потому что после дедушки стали приходиться другие, как будто своим первым появлением он снял в ней какой-то заслон, отверз врата где-то на уровне грудной клетки – именно там у нее возникло ощущение, что нечто запертое распахнулось одним махом. Другие являвшиеся ей мужчины и женщины всех возрастов были незнакомцами. И возникали они не внезапно, Эжени постепенно осознавала их приближение – все члены наполнялись свинцовой усталостью, ей казалось, она погружается в странный полусон, будто из нее безжалостно выкачали всю энергию, чтобы употребить на что-то другое. Вот тогда они отчетливо проступали в пространстве – стояли в гостиной, сидели на кроватях, замирали у стола и смотрели, как семья обедает. Поначалу, когда Эжени была помладше, эти видения приводили ее в ужас и заставляли замыкаться в тягостном молчании. Страшно хотелось броситься в объятия отца, зарыться лицом в лацкан его сюртука и сидеть так, пока они не оставят ее в покое. Девочка пребывала в смятении, однако испытывала твердую уверенность в том, что это не галлюцинации. Чувство, возникавшее у нее вместе с видениями, не допускало сомнений: эти люди умерли и приходят к ней

В ГОСТИ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.